

историки и в новое время. Об этом свидетельствуют, например, труды крупнейшего представителя русской историографии XIX в. С. М. Соловьева. Если Н. М. Карамзин, соединявший в себе писателя и историка, хотел объяснить загадочное сочетание в Иване Грозном «героя добродетели в юности» и «неистового кровопийцы в годах мужества и старости», если он старался «представить сей удивительный феномен в его постепенных изменениях», дать психологический портрет царя,³² то С. М. Соловьев совсем не ставил подобной задачи. Соловьева интересовало иное — исторические предпосылки политики Ивана IV, связь этой политики с предшествующим развитием России; о психологическом «единстве образа» он не беспокоился, иронически отзываясь о стремлении своих предшественников «дать единство характерам исторических лиц».³³ Именно поэтому, повествуя о различных поступках царя и событиях его царствования, С. М. Соловьев без затруднений пересказывал самые различные источники — сочинения Курбского (в частности, известный рассказ о мученичестве князя Репнина) и послания самого Грозного, официальные посольские дела и житийный рассказ о мученичестве митрополита Филиппа и т. д. В результате мы находим в повествовании С. М. Соловьева такой же «сводный образ» и такое же сочетание «разных стилистических систем», какое может быть отмечено в летописи, — черты публицистического стиля соединяются с документальными элементами, проникают в рассказ и элементы агиографического стиля (из Жития Филиппа). Но если такое сочетание стилей в историографическом труде XIX в. вытекает из поставленных в нем задач (и нисколько не мешает нам), не следует ли считать, что и у летописца XII в. оно также объяснялось специфическими задачами историографического жанра, а не особенностями «художественного мышления» того времени?

Высказанные здесь замечания вовсе не имеют целью снять проблему специфичности древнерусского повествовательного искусства. Эта специфичность (крайняя условность при изображении психологии героев на сколько-нибудь значительном протяжении действия наряду с весьма ярким и психологически убедительным описанием конкретных поступков) обнаруживается и в памятниках с единым сюжетом, например в повестях.³⁴ Но летописание — не лучший вид письменности для решения этой проблемы. При исследовании летописей как литературных памятников необходимо учитывать их «сводный», многосоставный характер. Такой характер летописания делает весьма сомнительными характеристики летописей в целом как единых литературных памятников. С точки зрения истории древнерусской письменности летописание может рассматриваться как единый и очень устойчивый по своим признакам жанр, но с литературно-художественной точки зрения это скорее конгломерат нескольких жанров, имевших разное происхождение и неодинаковое художественное значение. Чтобы оценить летописи XI—XVII вв. как памятники литературы, нужно учитывать, что удельный вес их отдельных жанровых элементов за это время существенно менялся.

Наиболее элементарной частью летописного повествования была погодная запись; в XII—XVI вв. такие записи постоянно велись в центрах летописания (при дворах князей и епископов, в монастырях и т. д.) и

³² Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. IX. СПб., 1892, стр. 3—11, 274—275.

³³ С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. II, т. VI—X. СПб., 1896, стлб. 328.

³⁴ Ср.: Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970, стр. 566—570.